

Часть I
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ РОКЕРЫ¹

2 декабря 1976 года

¹ «Первоначальные рокеры» (*англ.* Original Rockers) — название альбома (1979) ямайского регги- и даб-музыканта и продюсера Огастеса Пабло.

БАМ-БАМ

Знаю, что было мне четырнадцать. Это для меня не секрет. Еще знаю, что многие языком чешут абы чесать, особенно Америкос, который не затыкается никогда. Или только затем, чтобы начать ржать, и обязательно когда говорит про тебя, да еще с такой чудинкой: вечно приплетает твое имя к каким-то другим, о которых мы слыхом не слыхивали, типа Альенде Лумумба (похоже на страну, из которой взялся Кунта-Кинте). Глаза Америкос почти все время прячет за темными очками, типа как он проповедник из Америки, приплыл поучать чернокожих. С Кубинцем они приходят иногда вместе, иногда порознь, и когда один говорит, другой все время помалкивает. Кубинец почему зря стволом не машет — пушки, говорит, всегда нужны, когда нужны.

Знаю еще, что спал я на топчане, мать у меня давала за бабки, а отец был последним хорошим человеком в гетто. И что у твоего домины на Хоуп-роуд мы дежурили уже несколько дней, пока ты не вышел к нам для разговорца с таким видом, будто ты Иисус, а мы тут все Иуды, и типа так кивнул: благословляю, делайте свое дело, продолжайте в том же духе. Только не припомню, видел ли тебя я, или это кто-то мне сказал, что он тебя видел, а значит, и я мог подумать, что тоже видел, как ты вышел на заднее крыльцо с ломтиком джекфрута, и тут откуда ни возьмись она, как с какого-то важного дела (уж какое оно могло быть, в этом часу ночи? хотя известно какое), да еще такая вся в шоке: как, ты не одет? И потянулась за твоим джекфрутом, как голодная, хотя *раста*¹ не одобряют, чтобы женщины вели себя непочтительно, и вы оба с ней двигаете на полуночный рейв, а я тоже от него балдею — и от вида,

¹ Ра ста (растаманы) — приверженцы религиозного движения растафарианства, зародившегося на Ямайке и ставшего мировой субкультурой.

и от звука, — а потом ты пишешь об этом песню¹. Четыре дня подряд, в восемь утра и четыре пополудни, за коричневым конвертом к тебе приезжает один и тот же пацан из Бетонных Джунглей, на одном и том же лягушачьем моцике, пока его наконец не заворачивает новая бригада караульщиков. Об этом деле мы тоже знаем.

В Восьми Проулках и в Копенгагене всё, что ты можешь делать, это смотреть. Сытый голос по радио вещает, что преступность и насилие захлестывают страну, и наступят ли когда-нибудь перемены, надо подождать и посмотреть, но мы здесь, в Восьми Проулках, только и можем, что смотреть и ждать. И вот я смотрю, как по улице вовсю текут сточные воды, и жду. Смотрю, как моя мать дает двоим клиентам за двадцатку и еще одному за четвертной — иначе проваливай, — и жду, жду. Смотрю, как мой отец так на нее вызверивается, что валтузит как собаку, — и жду, жду, жду. Вижу, как оцинковка на крыше ржавеет под дождем, она вся в бурых дырках, будто импортный сыр; вижу, как в одной комнате ютятся семеро и одна беременная, и все равно трахаются, потому как бедны настолько, что не могут позволить себе стыд, — и все жду, жду. Комнатка становится все тесней и тесней, а из глубинки приваливает все больше братьев-кузин-сестер, а город все разбухает, и уже негде в нем сделать трах-трах, справить нужду или заправить курицу карри, а даже если и есть где, то не по карману, и той вон девчужке дают ножа, поскольку знают: ей по четвергам дают деньги на обед, и ребятам с улицы нравится, что я росл не по годам и в школу хожу как придется, не умею читать про Дика и Джейн, зато знаю о коке и коле, хочу попасть в студию и нарезать песняк, выдать хит и сделать ноги из гетто, но Копенгаген с Восемью Проулками слишком велики, и едва подбираешься к краю, как они пролегают вперед тебя, как тень, пока весь мир не превращается в гетто, — а ты все ждешь, ждешь, ждешь.

Я вижу, что ты голоден и ждешь, и знаешь, что это просто удача — ошиваться возле студии, и вдруг тебя замечает Десмонд Деккер² и указывает, чтобы тебе дали попробовать, и тебе дают, потому что еще до того, как ты начинаешь петь, в твоём голосе слышен

¹ Здесь и далее идет речь о песне Боба Марли «Полуночные рейверы» (*англ. Midnight Ravers*).

² Десмонд Деккер (1941—2006) — ямайский музыкант в стилях ска, регги и рокстеди.

голод. Ты делаешь запись, но не хитовую, и уже тогда слишком причесанную для гетто, хотя мы уже прошли то время, когда причесанность облегчала кому-то жизнь. Мы видим, что ты лезешь вперед, а еще впереди на семь футов твои словеса, и мы хотим, чтобы ты облажался. И мы знаем: никто не поверит твоему рудбойскому¹ прикиду, потому что у тебя вид интригана.

А когда ты исчезаешь в Делавэре и возвращаешься, то пытаешься петь ска, но ска уже покинул гетто и прописался на окраинах. Ска полетел самолетом за границу, показать белым, что это вам не твист. Может, для Сирийца с Ливанцем в этом и есть причина для гордости, но когда я вижу, как он в газетах позирует со стюардессами, я эту их гордость не разделяю, а просто пучу глаза — *чëë*? Ты записываешь еще одну песню, на этот раз хитовую. Но один хит не может выпульнуть тебя из гетто, если ты записываешь хиты для вампира. Один хит не превращает тебя в Скитер Дэвис² или парня, что поет «*Баллады ганфайтера*»³.

К тому времени, как пацан вроде меня отваливает от матери, она считай что перестала существовать. Священник говорит, в жизни каждого есть пустота в форме Бога, но единственное, чем люди гетто могут заполнить пустоту, это сама пустота. Семьдесят второй год — это вам вовсе не тыща девятьсот шестьдесят второй, и люди до сих пор нашептывают (кричать в полный голос — попробуй сыщи такого сумасброда), что когда умер Арти Дженнингс, то вдруг оказалось, что он забрал с собой мечту. Какую именно, я не знаю. Глупый все же народ. Мечта не ушла, просто люди не узнают кошмара, сами находясь в его гуще. Все больше людей стало перебираться в гетто, потому как Делрой Уилсон⁴ взял и спел «*Лучшее еще настанет*», а вместе с ним это спел человек, который потом станет премьер-министром. Лучшее еще настанет... Человек с прикидом белого, но, когда надо, легко переходящий на ниггерский акцент, поет вам «*Лучшее еще настанет*». Одета, как королева-женщина,

¹ Руд бо и (от *англ.* rude boy, крутой парень) — представители молодежной субкультуры Ямайки 1960-х, атрибутами которой были агрессивное поведение, легкие наркотики и музыка в стилях ска и регги.

² Ск и те р Дэ в и с (1931—2004) — американская певица в стиле кантри.

³ Имеется в виду Марти Роббинс (1925—1982), популярный американский исполнитель в стиле кантри-энд-вестерн.

⁴ Дел ро й У и л со н (1948—1995) — ямайский певец в стилях ска, регги и рокстеди.

которой гетто по барабану, пока оно не взбухло и не взорвалось, тоже поет «*Лучшее еще настанет*».

Но сначала настало худшее.

А мы смотрим и ждем. Двое доставляют в гетто стволы. Один показывает мне, как ими пользоваться. Хотя люди гетто были привычны убивать друг друга еще задолго до этого. Всем, чем ни попадая, — палками, мачете, ножами, ледорубами, бутылками из-под колы. Убивали за еду. Убивали за деньги. Иногда за то, что одному не понравилось, как на него поглядел другой. Убийству не нужны ни причина, ни резон. Это гетто. Резоны — они для богатых. А у нас правит безумие.

Безумие бродит вдоль центральной улицы и видит женщину, одетую по последней моде, и хочет напрямик подойти к ней и рвануть у нее сумочку — не из-за самой сумочки и даже не из-за денег в ней, но из-за вопля, когда она увидит, как ты выскакиваешь прямо перед ее нежным лицом и можешь ударом вышибить счастье у нее из губ или радость из глаза, убить ее и изнасиловать прямо тут же, до или сразу после убийства, потому что так рудбой вроде нас поступают с приличной женщиной вроде нее.

Безумие заставляет тебя следовать за человеком в костюме по Кинг-стрит, где голодранцы никогда не ходят. Ты смотришь и видишь, как он вышвыривает недоеденный сэндвич с курятиной, чует ее по запаху и изумляешься, как люди могут быть настолько богаты, что используют целый ломоть мяса, чтобы положить его меж двумя ломтиками хлеба, и, проходя мимо мусорного бака, ты видишь его, все еще в фольге и все еще свежее, не побуревшее, как остальные отбросы, и еще без мух, и думаешь «может», думаешь «да», думаешь «надо бы» посмотреть и попробовать, какова она на вкус, курятина без костей. Но ты твердишь себе, что ты не безумец; что безумие в тебе не такое, как у сумасшедших, но безумие гнева, потому как ты знаешь: этот человек выбросил еду специально для того, чтобы ты это видел. И ты даешь себе зарок, что когда-нибудь рудбой начнет ходить с ножом, и в следующий раз ты прыгнешь на него и вырежешь ему прямо на груди: «*Зажпись!*»

Но он знает, что пацан вроде меня не может ходить по центру долго и что вскоре на меня обратит внимание Вавилон¹. Полицией-

¹ Вавилон — в растафарианстве совокупное название западного общества, его образа жизни и связанных с ним атрибутов.

скому стоит лишь увидеть, что я без обуви, и тут же раздастся: «А ну, паскуды негритосовские! Вы чего тут шляетесь вблизи приличных людей?» И мне предоставится два варианта. Первый — это бежать в один из пронизывающих город проулков, куда он за мной погонится, чтобы можно было подстрелить меня не на глазах у публики. В магазине полно патронов, так что хоть один да попадет в цель. Или же я могу остановиться и тогда заполучу по скуле прямо на глазах у приличных людей — дубинка вышибет мне все коренные зубы и сделает трещину на виске, так что я окончательно оглохну на одно ухо, а мне скажут, что это урок, чтобы я, вонючий ублюдок, никогда впредь не совался из гетто в центр. Я вижу все это, и я жду. А затем возвращаюсь сюда снова, хотя никто и не успел хватиться.

Та женщина хочет знать, зачем мы сюда возвращаемся, когда в Америке есть столько для нас хорошего — рис «Анкл Бенс», например. Нас занимает, зачем ты туда едешь — за хитовыми песнями, что ли? Кое-кто из нас продолжает смотреть, как ты проплываешь по гетто, вроде мелкой рыбки по большой реке. Теперь-то мы знаем твою игру, но в ту пору еще нет — насчет того, как ты водил дружбу с одним бандюком здесь, кичился связью с *растой* там, щемился с тем ушлым и этим рудбоем, знался даже с моим отцом, так что каждый знал тебя достаточно, чтобы проникнуться, но недостаточно, чтобы озаботиться захомутать. Поешь ты обо всем без разбору, лишь бы сделать хит, даже то, что известно одному тебе, а остальным до лампочки. «*И я люблю ее*» исполняешь потому, что Принц Бастер делает кавер на «*Ты меня больше не увидишь*», который попадает в чарты¹. Ты используешь все, что имеешь, даже не свои мелодии, поешь их усердно и непрерывно и все-таки выпевашь себя из гетто. К семьдесят первому году ты уже на телевидении. Я в семьдесят первом прошел через свой первый отстрел. Мне было десять.

Цена жизни в гетто — ломаный грош, убить пацана ничего не стоит. Помню последний раз, когда отец пытался меня спасти. Он прибежал домой с фабрики — помнится, мы с ним оба стояли, и я лицом упирался ему в грудь, а он дышал часто, как загнанный пес. Остаток вечера мы коротали дома, стоя на коленках. Он говорит, игра такая — громко так сказал, быстро. Кто первый встанет, тот

¹ «And I Love Her», «You Won't See Me» — названия знаменитых песен группы «Битлз».

проиграл. Ну, я тогда встал — мне же десять, я пацан рослый и устал от этой самой игры, а он заорал, схватил меня и пихнул в грудь. Я тогда запыхтел, хотел разреветься, набрал уже воздуха, чтоб зарорать, и тут первая прошла стенку, как все равно что камушек булькнул в воду — «стук». А за ней еще и еще. И вот уже давай тарабанить по стенке — «*па-па-па-па-па-па*», — только последняя цвенькнула по кувшину, а там уж как дождик застучал — седьмая, десятая, двадцатая, — посыпалось, «*чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу*». Отец ухватил меня, пробовал закрыть мне уши, да так сильно, что сам не заметил, как давит мне на глаз. А я слышу все эти пульки — «*па-па-па-па-па-па*», «*тиуу-тиуу-тиуу*» — и чувствую, как пол сотрясается. Орут все: и мужчина, и женщина, и пацан — так, будто жизнь вот-вот оборвется, и кажется, что вопль обрывается из-за крови, что бьет вверх из горла и «бульк» — человек ею давится. Отец меня жмет книзу, затыкает мои вопли, а я норовлю тяпнуть его зубами за ладонь — он же мне еще и нос зажимает, — я ему «папуля, пожалуйста, не убивай», а он трясется трясом, и земля тоже ходуном ходит, и ноги, ноги вокруг: все бегают, падают ничком, носятся, гогочут, вопят как очумелые — мол, всем из Восьми Проулков крышка. А отец придавил меня к земле и закрыл собой — тяжелый такой, а мне нос ломит, и чую, как пахнет машинной смазкой, а на спине у меня то ли его колено, то ли еще что, а у пола горький вкус, и я понимаю, что это рыжая мастика, и хочу, чтобы он с меня слез, и все вокруг «*бум-бум-бум*», будто кто в чулках топочет. А когда отец наконец с меня слезает, люди снаружи все еще вопят, но уже без «*па-па-па*» и без «*тиуу*», а он плачет, а я его ненавижу¹.

Через два дня мать заявляется домой со смехом — новое платье у нее, дескать, самое нарядное во всех этих сраных трушобах, — а отец ее увидал, потому как на работу не ходил, и никто не выходил на улицу: вдруг опять заваруха. И вот он на нее напустился, хватать ее: «Ах ты, — говорит, — проблядь потаскушная, вся как есть мужиками провоняла, спущёнкой аж с порога несет!» Схватил ее за волосы и *на* ей в живот. А она давай вопить, что он и не мужик,

¹ Здесь и далее: редакция сочла возможным оставить в тексте нецензурные слова и выражения, а также упоминания о приеме персонажами наркотических средств, поскольку в контексте данного романа употребление всего этого неизбежно, при этом не несет позитивного характера.

блоху и ту топтануть не может. А он: «Ах, так тебя, значит, потоптать надо? Ну так я тебе шас хер подыщу как раз по твоей дырке». Опять хватить ее за волосы, затаскивает в комнату, а я смотрю из-под одеяла, куда он меня спрятал, если кто дурной ночью нагрянет, схватил швабру и давай мать ею охаживать с головы до самых пят, с переду до заду — она вначале орала, потом затыкала, а затем уж просто заскулила, — а он ее лупасит и приговаривает: «Вот тебе, лярва, раз ты хотела, толстым концом по макушке, по всей твоей блядской сучьей наружности». Распалился, ноги ей пинком раскинул и давай шваброй целиться. Измутьзгал досиня и выпнул из дома, и одежду ее следом выкинул. Ну, думаю, последний раз я мать свою видел. А она назавтра, гляди-ка, является — перебинтованная вся, прямо как мумия из фильма, что у нас за тридцать центов в «Риальто» кажут, — а с нею трое. Хватают втроем моего отца, но тот не дается. Дерется как дьявол, прямо как Джон Уэйн¹ на экране, как истинный мужик должен драться. Но он-то один, а их трое, а там и вовсе стало четверо. Четвертый появился, когда они отца ухайдакали в хлам. «Меня, — говорит, — зовут Шутник, я здесь следующий стану доном, а ты знаешь кто? Знаешь, как ты зовешься? А, гондон ты штопаный?» А мать моя ржет, хотя смех-то у нее пополам с кашлем — сильно ей от отца перепало. Шутник и говорит: «Ты думаешь, если на фабрике мантулишь, то значит, главный перец на деревне? Так ты знаешь, какое твое имя, козлиная? Стукач тебе имя». И сказал, чтобы все вышли. «А меня, — говорит, — знаешь, почему Шутником кличут? Потому что я шуток никому не спускаю».

Шутник, он даже в тени смотрелся светлее остальных, только кожа красная, будто кровь у него под ней кипит, или как у белых, которые долго лежат на солнце, а глаза серые, как у кошки. И вот он говорит отцу — мол, сейчас ты умрешь, прямо сию минуту, но если ублажишь, то, может, я тебя и пощажу, как ту львицу в «Рожденной свободной». Из гетто, правда, придется уйти. «Только через это, — говорит, — в живых и останешься» — и еще что-то бормочет, а сам расстегивает ширинку, достает свой причиндал и спрашивает: «Ну так как, хочешь жить? Или не хочешь?» Отец отвечает, что хочет, и сплевывает, а Шутник ему на это подставляет к голове ствол,

¹ Джон Уэйн (наст. Мэрион Роберт Моррисон, 1907—1979) — американский актер, называемый «королем вестерна».

прямо вот так над ухом. И говорит отцу о том, в какой край ему можно будет податься и выблядка своего забрать с собой. Как он это сказал — «выблядок», — я так сразу затрясся, но никто меня под одеялом не углядел. И вот он повторяет: «Хочешь жить? Хочешь или нет?» — раз за разом, прямо как девчонка-задирала, и водит стволом отцу по губам. Отец тогда приоткрывает рот, а Шутник говорит: «Смотри, головку укусишь — я тебе в шею шмальну, чтоб ты слышал, как подыхаешь» — и сует свой причиндал отцу в губы; сует и говорит: «Сосешь ты, как рыба дохлая, давай хоть лижи». И сам стонет, стонет, как от кайфа, и отца делает в голову, а затем отодвигается, приподнимает отцу подбородок и «кхх» из ствола. Именно «кхх», а не «бум», как в кино про ковбоев или Гарри Каллахана¹ — резко так, будто пробка жახнула на всю комнату. Кровь на стену так и брызнула лужей. Я ахнул, но вышло одновременно с выстрелом, а потому никто не узнал, что там под одеялом я, ни живой ни мертвый.

Прискочила обратно мать — хохочет, отца пнула, — а Шутник подошел к ней и пальнул в лицо. Она брякнулась прямо на меня, потому, когда он скомандовал меня найти, они искали везде, только не под матерью. Шутник говорит: «Представляете? Этот педрила сказал, что отсосет у меня с причмоком и будет ублажать и дальше, если только я его оставлю в живых. Да как ухватится, грязный извращенец, и давай мне хер наяривать. Нет, правда, представляете?» Так вот стоит и говорит, а его люди вокруг ищут меня, но только сверху лежит мать, а пальцы у нее как раз у моего лица, и я смотрю через них, как сквозь решетку, и не плачу, а Шутник все распинается, как он знал всю дорогу, что мой отец извращенец — кто б в здравом уме довел свою бабу до блядства через то, что ей дома даже шишку запарить было некому. Только, говорит, Шотта Шерифу об этом ни слова.

В доме теперь тихо. Я сталкиваю с себя мать, довольный, что темно, но уйти не могу — меня же могут поймать, — а потому смотрю и жду. А пока я жду, мой отец, что на полу у двери, встает, подходит и говорит, что английский — лучший в школе предмет, потому как, даже если ты захочешь устроиться слесарем, никто тебя на работу не возьмет, если у тебя не подвешен язык, а это

¹ Гарри Каллахан — киногерой, вымышленный полицейский детектив из Сан-Франциско.

самое главное еще до того, как ты начал осваивать ремесло. И что мужчина должен научиться готовить, хотя это и женское занятие, и говорит, и говорит, и говорит, да громко так; у него вообще голос громкий, а сейчас так вообще кажется, что он хочет докричаться до соседнего дома, чтобы его там услышали... хотя нет, он все так же на полу и торопит меня бежать, потому как скоро они вернуться, снимут с него кларксовские туфли и заберут все мало-мальски ценное, да еще и дом вверх дном перевернут в поисках денег, хотя все свои деньги он положил в банк. Он у двери. Я стаскиваю с него те кларксовские туфли, но вижу его голову, и меня начинает рвать. Туфли мне велики, и я в них шлеп-шлеп-шлеп на заднюю часть дома, где снаружи только старая узкоколейка да кустарник, и тут я запинаясь о чертову свою шалаву-мать, которая вдруг дергается, будто живая, но это только кажется. Залезаю на подоконник и спрыгиваю. Туфли для бега слишком велики, поэтому я их снимаю и бегу через кустарник, по битому стеклу, мокрому дерьму, сухому дерьму, по непогашенному огню, и мертвая узкоколейка выводит меня из Восьми Проулков, и я бегу и прячусь за кустом юкки, пока солнце не становится оранжевым, затем розовым, затем серым, а затем солнце уходит и всходит луна, круглобокая. Тут я вижу, как мимо проезжают три грузовика, где всего по одному человеку внутри, и бегу, бегу до самых Мусорных земель, где ничего, кроме отбросов, хлама и дерьма на целые мили. Ничего, кроме того, что выбрасывают обитатели окраин, и этот мусор громоздится холмами, долинами и дюнами, как пустыня, и везде горит и дымится, а я все бегу, не останавливаюсь, пока не вижу въезд в другое гетто, он под охраной, но рядом там стоит грузовик, и я под него подныриваю и снова бегу, а вслед мне кричит какой-то мужчина, и вопит какая-то женщина, а дома здесь стоят по-иному — ближе, теснее, — а я все бегу, и кто-то там вылетает с автоматом, но женщина кричит, что это всего лишь мальчуган и он в крови, и тут я обо что-то стучаюсь, падаю и начинаю реветь во всю глотку, а надо мной стоят двое. Один из них наводит ствол, а я теперь лишь сиплю, как, бывало, отец во сне, а тот, что со стволом, сверху кричит: «Ты откуда? От тебя воняет, как от тех ублюдков с Восьми Проулков!» А второй говорит: «Он ведь щегол совсем, да еще в крови. В тебя что, пацан, стреляли, что ли?» А я даже говорить толком не могу, встал и мелю вздор, типа «Кларкс — хорошие туфли. Кларкс — очень хорошие...». Тогда тот, что со стволом, передергивает затвор, но ему кто-то кричит:

«Ишь, как у Джоси Уэйлса руки чешутся! Ему бы все только через “бам-бам” решать!» И тогда они оба отходят, но многие другие собираются, в том числе женщина. А потом все расступаются, как Красное море перед Моисеем, и ко мне подходит один. Останавливается. «Это как понимать? — говорит. — Никак Шотта Шериф сам за отстрелы взялся? Не знает, чем кормить своих бойцов, и решил убавить численность? Вот какой, оказывается, в Восьми Проулках контроль за рождаемостью». Тут все давай смеяться. Я ему, мол, «мама, папа» — сам больше ничего выговорить не могу, — а он мне кивает с пониманием. «Хочешь с ним посчитаться?» — спрашивает, а я хочу сказать «за отца — да, а за мать — нет», но изо рта только «ы-ы-ы», и еще я киваю, будто получил по мозгам и речи лишился. Он говорит: «Ничего, уже скоро» — и подзывает женщину, которая хочет взять меня за руку, но я хватаю те туфли, и он смеется. Большой такой мужчина, в белой вязаной «сеточке», которая под фонарем будто светится и освещает ему лицо, что в основном спрятано в бороде, только глаза у него большие и будто светятся сами собой, и улыбается он так, что толщина губ едва заметна, а когда перестает улыбаться и щеки опадают, то борода будто клином врезается в лицо, а глаза смотрят так пристально, холодно. И он говорит: «Пускай они знают, что в Копенгагене не собаки живут, у нас здесь не как в гетто» — и посмотрел на меня так, будто может говорить без всяких слов, и я знаю, что он видит перед собой что-то такое, чего можно использовать. И говорит: «Принесите этому парню ананасовой воды», а женщина говорит: «Будет сделано, Папа Ло».

И вот с той поры я живу в Копенгагене, вижу отсюда Восемь Проулков и жду своего дня. На моих глазах человек из Копенгагена вначале ходил только с ножом, затем с ковбойским ружьем, затем с «М16», а теперь уже с таким стволищем, который он сам едва таскает, и мне исполняется двенадцать, или, по крайней мере, я так думаю, потому как Папа Ло называет тот день, когда я к нему попал, днем моего рождения. Дает он ствол и мне и называет меня Бам-Бам. И мы с еще одним пацаном ходим на Мусорные земли учиться стрелять. В первый раз у меня от звона и отдачи плывет в голове, и все смеются и зовут меня шибзденышем, но я им говорю, что так ночью звал мохнагу их мамыши, когда ей вставлял, и все опять смеются, а Джоси Уэйлс сует мне в руку ствол и показывает, как целиться. Я расту в Копенгагене, смотрю, как меняются стволы,